

Междисциплинарный подход и этногенез

[Виктор Шнирельман](#)

С разрешения автора перепечатаем статью доктора истор. наук Виктора Александровича Шнирельмана «Междисциплинарный подход и этногенез», опубликованную в сборнике «Феномен междисциплинарности в отечественной этнологии» под ред. Г. А. Комаровой, М.: ИЭА РАН, 2016. С. 258-284.

Лингво-археологические построения – проблемы и сложности

В 1980-1990-е годы сравнительно-историческое языкознание сделало колоссальный рывок вперед и по праву заняло важное место в кругу других наук (археология, этнография, палеоантропология и др.), материалы которых обычно привлекаются для изучения этногенеза и этнической истории народов мира. Это относится в первую очередь к новейшим исследованиям по индоевропейским (В. В. Иванов, Т. В. Гамкрелидзе), афразийским (И. М. Дьяконов, А. Ю. Милитарев), австронезийским (Р. Бласт, Ю. Сирк, И. И. Пейрос), австроазиатским (П. Бенедикт, И. И. Пейрос), синотибетским (П. Бенедикт, С. А. Старостин, И. И. Пейрос), северокавказским (И. М. Дьяконов, С. А. Старостин, С. Николаев), дравидийским (Д. Макальпин, М. С. Андронов), бантуским (Д. Гринберг, М. Гасри) и некоторым другим языкам и языковым семьям. Реконструируя обширные пласты протолексики, лингвисты получают реальную возможность изучать особенности культуры, социальной организации и образа жизни народов, говоривших на праязыках в глубочайшей древности.

Все это позволяет лингвистам выйти далеко за пределы собственно лингвистической тематики и подойти к решению важнейших проблем первобытной истории. Вместе с тем, это ставит на повестку дня вопрос о взаимоотношениях лингвистов с представителями смежных дисциплин, занимающихся родственной тематикой, а также вопрос о соотношении лингвистических данных с данными других наук. Кроме того, коль скоро реконструированная лексика начинает служить историческим источником, она должна непременно подвергаться источниковедческой процедуре, принятой для работы с любым историческим источником. Но выработка такой процедуры требует, прежде всего, понимания характера лингвистического или, шире, этнического процесса в первобытных обществах. Ведь говоря о древних индоевропейцах или, скажем, афразийцах, мы имеем в виду, прежде всего общности, члены которых общались на соответствующих праязыках. Естественно, мы при этом подразумеваем, что они обладали и единой культурой, в том числе материальной. Однако соотношение между культурной общностью (в особенности, выделенной по материальной культуре) и лингвистической общностью — вопрос особый, каждый раз требующий проведения специального анализа (Шнирельман 1993а). Вот почему невозможно говорить об индоевропейской, индоиранской, индоарийской и других подобного рода реконструкциях, опираясь исключительно на археологические материалы.

Между тем, среди нелингвистов прослеживается тенденция прямо и безоговорочно отождествлять древние археологические комплексы с теми или иными лингвистическими общностями, фактически почти полностью абстрагируясь от имеющихся лингвистических данных или привлекая их в минимальной степени. Итогом служат лингвоархеологические отождествления, не только кардинально расходящиеся между собой, но и почти не поддающиеся более строгой проверке, так как их авторы фактически не предлагают никаких более или менее развернутых обоснований для выдвигаемых гипотез. Так, С. А. Арутюнов считает древнейших земледельцев и скотоводов Передней Азии носителями праностратических диалектов (Арутюнов 1982: 74-75), а по П. М. Долуханову, все они говорили на индоевропейском праязыке, который будто бы распространился среди них в качестве лингва франка. Интересно, что гипотеза Долуханова вовсе не оставляет на Среднем Востоке места для эламо-дравидов, а прасемитов загоняет в Аравийскую пустыню, оживляя идею, давно отброшенную наукой (Долуханов 1989: 47; 1990: 121; Dolukhanov 1989: 273-274; 1994). Зато А. Х. Халиков, похоже, отождествлял ранних земледельцев Передней Азии с эламо-дравидами (Халиков 1993). Между тем, Э. Шеррэт (Sherratt, Sherratt 1988: 588-590) и К. Ренфрю (Renfrew 1989) различали среди ранних земледельцев Передней Азии три, если не четыре, лингвокультурных общности: праафразийцев (Сиро-Палестинский регион), праиндоевропейцев (Малая Азия) и праэламодравидов (Ирано-иракское пограничье) и, возможно, пракавказцев (по Шеррэту). Столь разные решения, предлагаемые известными специалистами, порождают ощущение тревоги за дальнейшую судьбу соответствующих исследований, в которых нарастает произвол, допускающий выдвигание политизированных националистических версий или в полном смысле мифов. В свою очередь последние создают идеологические основы для межэтнической конфронтации (Шнирельман 1993б, 1993в, 1995, 2003, 2006; Shnirelman 1995, 1996).

Это требует от исследователей большей серьезности в отношении лингво-археологических построений. Прежде всего, речь может идти, естественно, о выработке более строгих междисциплинарных методик, необходимость которых уже много раз отмечалась специалистами. До сих пор наиболее распространенным методом были попытки корреляции археологических и топонимических данных (см., например, Членова 1984; Телегин 1992; Telegin 1990, и др.). Однако из-за невозможности четко датировать топонимические пласты такие попытки редко были удачными. Недостаток наиболее распространенных подходов к

лингво-археологическим реконструкциям заключается и в том, что они до сих пор, как правило, создавались специалистами одного профиля, т. е. либо лингвистами, либо археологами, которые, будучи профессионалами в своей области, слабо ориентировались в материалах смежной науки. Вот почему, скажем, солидная во многих других отношениях праиндоевропейская реконструкция Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова (1984) вызвала справедливые нарекания у археологов (см., например, Черных 1987; Алекшин 1990), а соответствующие построения К. Ренфрю (Renfrew 1987) — острую критику со стороны лингвистов (Baldi 1988; Coleman 1988; Ehret 1988; Szemerényi 1989. См. также Yoffee 1990).

Как соотносятся археологические материалы с лингвистическими, какие именно лингвистические данные и каким образом могут использовать археологи, как лингвистические реконструкции в свою очередь отражают древние реалии, — все эти вопросы неоднократно обсуждались. И тем не менее, остается еще очень много неясного, что нередко и порождает затяжные споры между специалистами, по-разному понимающими возможности как лингвистики, так и археологии, и по-разному интерпретирующими соответствующие данные (об этом см., напр., Yoffee 1990). Настоящая работа поэтому специально посвящена некоторым вопросам интерпретации исходных данных. В ней развиваются идеи, отчасти уже обсуждавшиеся ранее в связи с конкретными лингво-археологическими реконструкциями, посвященными афразийцам, дравидам и ряду древних этнолингвистических групп Восточной и Юго-Восточной Азии (Милитарев, Шнирельман 1984; Пейрос, Шнирельман 1987; Милитарев, Пейрос, Шнирельман 1988; Пейрос, Шнирельман 1989а, 1989b; Пейрос, Шнирельман 1992; Шнирельман 1992а; Militarev, Shnirelman 1988; Shnirelman 1997; Pejros, Shnirelman 1999). Эти реконструкции каждый раз создавались и обсуждались коллективно, причем один из авторов представлял лингвистическую науку, а другой — археологическую, что позволяло учитывать новейшие достижения каждой из них и взаимно корректировать выводы. Кроме того, реконструкция древних этнокультурных процессов в обязательном порядке требует знаний в области социо-культурной антропологии, что также учитывалось нами при работе и что в последние годы все чаще признается и зарубежными специалистами (Zimmer 1990). Эти знания особенно важны при интерпретации лингвистических и археологических материалов, как это будет продемонстрировано ниже.

Предпосылкой лингвоархеологического подхода является способность как лингвистики, так и археологии своими собственными средствами фиксировать одни и те же исторические процессы или события. Только в этом случае, сопоставляя полученные независимым путем данные обеих этих наук, можно попытаться совместить лингвистическую карту с археологической и отождествить создателей определенных археологических культур или комплексов с носителями тех или иных языков. Ясно, что огромную роль в этом может сыграть реконструированная древняя культурная лексика.

С этой точки зрения наиболее плодотворным представляется изучение переломных критических периодов в жизни общества, которые могут быть хорошо засвидетельствованы и лингвистически, и археологически. Одной из таких переломных эпох был переход к производящему хозяйству, который имел глобальное значение и нашел отражение во всех сферах культуры, в том числе и в языке. Большие перспективы открывает также изучение процессов хозяйственной интенсификации в позднепервобытное время (появление пашенного земледелия, ирригации, повозки, начало садоводства и виноградарства, domestикация осла, верблюда и лошади и использование их в транспортных целях, появление молочного хозяйства и шерстоткачества, и т. д.) (Шнирельман 1980: 218 сл.; Sherratt 1988). При этом очень разные аспекты и детали этих процессов могут фиксироваться независимо как археологами, так и лингвистами. Существенно, что обе науки могут фиксировать их по нескольким параметрам, способы изучения которых в принципе не зависят друг от друга. Иными словами, это дает уникальную возможность проверки и перепроверки предварительных выводов как внутридисциплинарными, так и междисциплинарными методами. А это делает реконструкцию особенно надежной.

Известно четыре основных направления такого исследования: выработка и увязка между собой хронологических шкал; изучение особенности древней культуры; изучение межкультурных (языковых и иных) контактов; выявление особенностей распада древних лингвокультурных общностей (Милитарев, Пейрос, Шнирельман 1988). Совместное использование всех этих методов позволяет локализовать прародины определенных лингвистических общностей, описать существенные особенности их культуры, выявить пространственно-временные рамки процесса их распада, установить круг различных взаимодействующих лингвистических общностей в пределах определенных территорий и в определенные хронологические периоды, выявить особенности формирования новых лингвокультурных общностей на основе распавшихся.

Хронология с позиций археологов и лингвистов

Начнем с хронологии, которая может устанавливаться независимыми способами как в археологии, так и в лингвистике. Основным методом получения абсолютных датировок в археологии служит радиоуглеродный анализ. Уже было показано, что радиоуглеродная шкала дает даты, искусственно омоложенные по сравнению с календарными. Для приведения радиоуглеродных дат в соответствие с последними рекомендуется пользоваться специальными калибровочными коэффициентами (Klein, Letman, Damon, Ralph 1982). К сожалению, калибровочная шкала разработана лишь для последних 8 тыс. лет, и остается не вполне ясным, в какой мере радиоуглеродные датировки искажают картину для более раннего времени. Так как наиболее ранние из калиброванных дат дают по сравнению с радиоуглеродными удревнение приблизительно на 1 тыс. лет, то мы условно принимаем, что для периода раннего голоцена радиоуглеродные датировки могут удревняться тоже на

1000-1500 лет (Шнирельман 1980: 5, 6).

Основным и единственным методом получения абсолютной хронологии в лингвистике служит глоттохронология. Этот метод, предложенный М. Сводешем (1960а, 1960б; Swadesh 1959; Арапов, Херц 1974), неоднократно подвергался критике (Hymes 1960; Gudschinsky 1964), отчасти вполне обоснованной. Впрочем, как справедливо отметил К. Эрет, при определенном критическом подходе, в разумных пределах этот метод может работать неплохо (Ehret 1988: 566-569). Отечественный лингвист С. А. Старостин разработал его усовершенствованный вариант, делающий глоттохронологические подсчеты для разных временных уровней достаточно надежными (Старостин 1989). При этом следует иметь в виду, что увязка праязыковых лексических реконструкций с глоттохронологическими датировками имеет свою специфику. С помощью глоттохронологических подсчетов более или менее точно датируется лишь момент распада праязыка. Что же касается реконструированной праязыковой лексики, то полученные таким образом даты дают лишь *terminus ante quem* для периода ее бытования, иначе говоря, верхнюю хронологическую границу. А нижнюю границу можно выявить только при условии обнаружения более древнего праязыка. Так, специфическая южнодравидская лексика должна была существовать, начиная примерно с XX в. до н. э. (распад центральноюжнодравидской общности) до X в. до н. э. (распад южнодравидской общности). Устанавливая в обоих случаях абсолютную хронологическую шкалу, глоттохронология и калиброванные радиоуглеродные даты дают возможность взаимной корректировки и проверки археологических и лингвистических выводов.

Особое место в лингвоархеологической методической процедуре занимает анализ реконструированной лексики и ее сопоставление с археологическими реалиями. Последнее очень широко используется в науке и порождает затяжные дискуссии, ибо, как правило, если одни лексические формы находят хорошие аналогии в археологии, то другие никак не вмещаются в узкие пространственно-временные рамки, предлагаемые археологами. В этих случаях обе стороны — и лингвисты, и археологи — склонны обвинять друг друга в неточных реконструкциях: в неверном установлении хронологии, в ошибочной пространственной локализации обсуждаемых реалий, в недоучете контактов с теми или иными культурными или лингвистическими общностями и пр. Оставляя в стороне проблематику, связанную с критикой археологических источников (Клейн 1978; Шнирельман 1983), отметим, что существует ряд объективных и субъективных причин, по которым лингвистические выводы могут расходиться с археологическими, а иногда и с историческими, либо просто разочаровывать археологов отсутствием необходимой информации. Ведь археологические и лингвистические материалы нередко по-разному характеризуют отдельные аспекты реконструируемой культуры. Так, если археологические данные дают возможность достаточно детально описать особенности орудийного набора, домостроительства, украшений, выявить источники сырья для разнообразных производств, то лингвистическая информация характеризует эти сферы гораздо более скупой, более обобщенно. Иначе говоря, археолог, намеревающийся использовать лексические реконструкции, должен четко сознавать, какие именно реалии они способны и будут освещать.

Культурные реалии не всегда имеют адекватное отражение в лексике

Но и это еще не все. Необходимо также учитывать своеобразное отражение определенных существенных процессов в головах людей, а значит и в лексике. Так, большое значение для развития междисциплинарных исследований имеет фиксация сложения специфической земледельческой (и скотоводческой) техники, что в принципе возможно проследить независимо как археологическими, так и лингвистическими методами. Но в этом случае может обнаружиться некоторое расхождение в выводах, так как начальные этапы становления производящего хозяйства или вообще введения какой-либо инновации улавливаются археологами и лингвистами по-разному. Ведь на этих этапах и выращиваемые растения, и разводимые животные морфологически еще не отличались от диких, а техника сохраняла доземледельческий и доскотоводческий характер. Поэтому в археологических материалах самые ранние этапы становления производящего хозяйства не могут найти четкого отражения. Иначе могло обстоять дело с языком, о чем ясно говорят следующие примеры.

На восточном побережье п-ва Кейп Йорк в Австралии обитали аборигенные группы, которые умели пересаживать разнообразные растения и, в первую очередь, ямс, игравший здесь большую пищевую роль. В то же время за растениями не ухаживали, и назвать эту практику земледелием в полном смысле слова было бы, по меньшей мере, неосмотрительно. Вместе с тем, сами аборигены описывали заросли ямса как «огороды» и ставили там особые знаки собственности. Если аборигены возвращались после долгого отсутствия на свою старую стоянку, они тщательно осматривали все деревья и кустарники, о которых хорошо помнили, и причитали: «Бедная старая страна стала теперь «дикой». Никто за ней не следил» (Hynes, Chase 1982: 40-41). Аналогичная ситуация встречалась у квакиутлей на северо-западном побережье Северной Америки, где в пищу широко использовали некоторые дикие коренья. Места, где эти коренья встречались в большом количестве, имели особые названия, которые Ф. Боас переводил как «огороды» или «грядки». Там ставили особые знаки собственности. В XIX в. там даже наблюдались попытки пересадки и ухода за этими растениями. Их заросли окружали особыми изгородями (Boas 1921: 186-191; Turner, Kuhnlein 1982: 411-432). Но и это еще не было настоящим земледелием.

Не менее интересная ситуация встречалась у паюте долины Оуэнса в горах Сьерра-Невада (юго-восток США), у которых имелись свои термины для обозначения «орошения», «главного ирригатора» (организатора работ по орошению) и «палки (орудия) главного ирригатора». И это притом, что паюте оставались собирателями и орошали заросли диких растений!

(Lawton, Wilke, DeDeker, Mason 1976; Шнирельман 1989: 296).

Даже термины для орудий, которые обычно связываются с земледельческим трудом, бывают иногда обманчивы. Так, у коряков имеется свой термин для мотыги («в'ины»), но корякские женщины использовали мотыгу отнюдь не для земледелия, а для добычи растительной пищи из нор полевых мышей (Антропова 1971: 65).

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что формирование, так называемой, земледельческой лексики могло начаться в предземледельческую эпоху, но зато комплекс такой лексики в полном объеме и во всем многообразии мог возникнуть уже после образования земледелия как сложной хозяйственной системы (Brown 1985: 46). Следовательно, в ряде случаев «земледельческая» терминология, реконструированная на праязыковом уровне, может свидетельствовать о предземледельческой, а не земледельческой в полном смысле слова эпохе. Иными словами, в ряде случаев лингвистические реконструкции могут фиксировать этап, предшествовавший возникновению настоящего земледелия, а археологические данные — этап, на котором земледелие уже достигло определенного уровня развития. Собственно земледелие возникало где-то между этими крайними точками, и это следует учитывать при попытках согласовать между собой соответствующие археологические и лингвистические данные. В приложении к истории древнейших индоевропейцев такая ситуация, возможно, встречалась в отношении колеса, повозки и одомашненной лошади, в особенности, если учесть, что до сих пор нет строгих палеозоологических критериев обнаружения ранних одомашненных лошадей.

С этой точки зрения особенно интересная ситуация складывается с пахотными орудиями у индоевропейцев.

Лингвистическими методами надежно установлено, что праиндоевропейцы еще не знали рала. Все же оно появилось у них относительно рано в процессе первичного распада индоевропейской общности (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 687-688). Вместе с тем, находки древнейших упряжных пахотных орудий в Европе никак не могут быть датированы ранее середины III тыс. до н. э. Поэтому очень вероятно, что в своем исконном значении самые ранние термины для пахоты и рала относились к работе бороздовыми орудиями или «ручными сохами», которые действительно встречались в Европе со второй половины IV тыс. до н. э. (Шнирельман 1980, с.229; 1988: 20-23). Одна из таких находок была сделана в Литве (Rimantiene, Cesnys 1990).

По-видимому, могли наблюдаться и прямо противоположные ситуации. Об этом свидетельствуют хотя бы данные об индейцах Северо-Западного побережья Северной Америки, где в недавнем прошлом встречались ожесточенные вооруженные столкновения, которые, исходя их ряда параметров (Turney-High 1949), могут трактоваться как настоящие войны. Между тем, у южных квакиутлей имелся единый термин, обозначающий как битвы между кланами и племенами, так и межличностные схватки с целью убийства чужака. Этот же термин использовался и для брачной церемонии (Voas 1966: 108). У тлингитов такого рода термин описывал любое умышленное или неумышленное убийство как на индивидуальном, так и на групповом уровне, а также самоубийство. Иными словами, он применялся для любых действий, требовавших проведения специальной «мирной» церемонии (Laguna 1972, т.2: 580, 593). В то же время терминологически тлингиты различали состояние войны и собственно стычку (Шнирельман 1991). Ясно, что в подобных случаях, исходя из археологических данных об оружии, доспехах, фортификации, исследователь сможет говорить о развитии военного дела, но в реконструированной лексике четкого обозначения для термина «война» он не найдет. Возможно, это явление было свойственно и праиндоевропейцам, судя по семантике производных от слова «война» терминов в дочерних языках (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 740). Напротив, в связи с плохой сохранностью древнейшего оборонительного оружия в археологических комплексах не должно вызывать удивления, что термин для щита как будто бы фиксируется на общеиндоевропейском уровне, тогда как находки древнейших остатков самих щитов датируются более поздним временем (ср. Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 739; Bukowski 1971-1972. См. также Шнирельман 1994: 46-47).

Все это позволяет сделать один важный вывод. Использование единичных или изолированных реконструированных лексем может ввести исследователя в заблуждение. Повышение надежности реконструкции требует опоры на целые лексические блоки или комплексы (Абаев 1952: 48). Так, в случае с военным делом особенно показательны термины для защитного вооружения и фортификации, тогда как термины для боевого и охотничьего оружия в языке нередко не различаются. В случае же земледелия важно иметь целый набор терминов, связанных с обработкой участков, посадкой растений, уходом за ними, сбором и обработкой урожая и соответствующими орудиями.

Флора и фауна в языке

Большое значение для локализации праязыковой прародины имеют термины для диких растений и животных. Обычно предполагают, что, обладая набором таких терминов, нетрудно реконструировать природную среду, в которой обитали носители праязыка. На практике эта задача оказывается весьма непростой, ибо народная номенклатура названий для фауны и флоры существенно отличается от научной, нередко основываясь на иных критериях. Кроме того, как известно, почти повсюду у ранних земледельцев термины, образованные на однокорневой основе, применяются именно для родовых биологических названий, а для определения видов, как правило, используются производные от них сложносоставные термины (Меркулова 1965: 72-87; Стеблин-Каменский 1982: 7; Berlin et al. 1973). Зато у охотников и собирателей преобладают видовые термины, которые после перехода к производящему хозяйству становятся родовыми путем расширения значения (Brown

1986: 5-9). Но на праязыковом уровне реконструируются именно родовые термины. Это имеет существенные последствия для междисциплинарных исследований, так как отдельные роды фауны и флоры в отличие от видов обычно занимают весьма обширные ареалы. При этом ареалы животных гораздо шире, чем ареалы растений. Поэтому, основываясь на флористической терминологии, можно выделить более узкую область, чем на основе фаунистической. И все же эта область будет слишком широка, чтобы совпадать с искомой праязыковой прародиной.

Так, при анализе экологической терминологии центральноюжнодравидского (ЦЮД) праязыка для него был выявлен ареал в пределах зоны сухого листопадного тропического леса, в которой и ныне сосредоточены все языки-потомки (Пейрос, Шнирельман 1992). Чтобы более точно выявить место предполагаемой ЦЮД прародины внутри этой обширной области, одной экологической терминологии по указанным выше причинам оказалось недостаточно, понадобилось привлечение других более специфических данных.

Многих трудностей удалось бы избежать, если бы лингвисты умели реконструировать видовые названия, для которых в народной земледельческой номенклатуре часто применяются, так называемые, вторичные лексемы (т. е. однокоренные слова с уточняющими определениями). К сожалению, такой лингвистический материал обычно в поле не собирается и в словарях не дается, а, следовательно, и недоступен для процедуры реконструкции. Поэтому представляется чрезвычайно важным проведение целенаправленных полевых исследований с целью сбора подобного рода видовой лексики. Может быть, это откроет определенные возможности для реконструкции видовых названий и на праязыковом уровне?

Реконструкция древней среды обитания на предполагаемой прародине относительно проста в том случае, если языки-потомки остались в пределах изначальной экологической зоны. Если же после распада праязыка они оказались в разных зонах, то в силу переноса значений терминов задача реконструкции сколько-нибудь четкой экологической картины, которая бы характеризовала прародину, подчас оказывается совершенно безнадежным делом. В этом смысле весьма показательна праафразийская реконструкция. В ней достаточно однозначно представлены значения терминов для диких животных, которые расселены практически повсюду, где сейчас распространены языки-потомки, и почти нет однозначных терминов для диких растений, так как флористические комплексы в ареалах, соответствующих современному местоположению языков-потомков, существенно различаются. Еще менее обнадеживающей представляется ситуация с праиндоевропейской экологической реконструкцией в силу того, что языки-потомки распространились по весьма различным природным зонам. Вот почему в дочерних индоевропейских языках первичный термин для дерева получил значение где «дуба», а где «сосны» (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 612-614). По той же причине нет полной уверенности, что праиндоевропейский термин, реконструированный для бука, действительно первоначально означал «бук», а не какое-либо другое дерево (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 621-622). Аналогичные семантические сдвиги происходили в дочерних индоевропейских языках в названиях других деревьев и животных. Вот почему все ожесточенные споры вокруг «аргументов березы» и «лосося» в конечном счете зашли в тупик (Zimmer 1990: 142).

Ловушки многозначности

Лингвистам известно, как трудно порой бывает реконструировать исконное значение термина. Почему это происходит? Дело в том, что некоторые термины уже изначально являлись многозначными, и это давало себя знать в ходе языковой дивергенции. Примером может служить термин *iwoŋ* в языке айнов, который означал и священную гору, и в целом район, где имелись горы, а точнее — верховья горных рек, где айны любили устраивать охоту. Фактически же этот термин мог использоваться для любого речного или приморского района, где располагались традиционные хозяйственные угодья (Irimoto 1990). Следовательно, в гипотетической ситуации распада айнского языка этот термин в одних случаях мог бы сохранить значение «гора», а в других означать «хозяйственные (охотничьи, рыболовные и пр.) угодья».

Так, видимо, и происходило, например, в степных районах Австралии, где обитали специализированные собиратели дикого проса и других съедобных растений. Скажем, одна из северных групп австралийских аборигенов называла зерно *bodjan*, а терочник *jamaga*. Зато другая группа, жившая в 1450 км к югу от нее, использовала последний термин именно для зерна (Tindale 1977: 346).

В некоторых случаях отмеченное явление может дать ключ к пониманию первичной ситуации. Известно, что у многих этнических групп пища и основной или наиболее ценимый ее вид обозначаются одним и тем же термином. Это — *saŋo* у обитателей низменностей Новой Гвинеи (Schlesier 1961: 224; Saggars, Gray 1985: 109), *нерпа* или *толень* у азиатских эскимосов и рыба у алеутов (Меновщиков 1969: 118), *таро* у папуасов-маринг (Rapport 1989), *маниок* у индейцев-маку (Milton 1984: 18), и т. д. У кучинов Аляски мясо и мускусный бык — их основная охотничья добыча — обозначались тоже одним термином (Nelson 1973: 85). У абхазов понятие пищи, пира связано с термином «ача», означающим хлеб или мягкую пшеницу. А вот по-убыхски «ача» означает молоко (Инал-Ипа 1965: 236, 343). Иначе говоря, в глубоком прошлом понятие «пища», как правило, ассоциировалось, прежде всего, с каким-либо одним главным видом пищи. В дальнейшем в ходе языковой дивергенции первичный термин мог сохранить в разных дочерних языках значение пищи вообще, а мог и получить более узкий смысл, связанный с каким-то конкретным животным, растением или видом пищи, которые имели первостепенное

значение для предков данного населения. При этом надо иметь в виду, что традиционные этнические группы могли классифицировать пищу иначе, чем это принято в современных обществах. Например, австралийцы-питьянтъяра делили пищу на две категории: мясо (*kuka*) и растительную пищу (*mai*). Получив в недавнем прошлом баранину и говядину от белого населения, австралийцы включили их в категорию *mai*, так как термин *kuka* относился только к местной престижной пище, преимущественно, к мясу кенгуру (Palmer, Brady 1990).

Иногда термин мог использоваться расширительно. Так, аборигены Груте Айлендта, говоря «рыба», подразумевают не только рыбу, но и любое мясо (Worsley 1961: 162). Иногда, напротив, смысл термина в разговоре сужался. Например, произнося слово «рыба», тлингиты Южной Аляски имеют в виду, прежде всего лосося (Laguna 1972, vol.1: 50). Все это влияет на дальнейшую эволюцию семантики и затрудняет современным ученым правильное понимание исходного смысла термина.

Особую важность для лингвоархеологической реконструкции имеет восстановление древних терминов для различных видов материальной культуры, которые люди могли перемещать с места на место независимо от экологической обстановки, в частности, терминов для одомашненных животных и культурных растений. Так как при переселении в новые районы люди могли забрать их с собой, то можно предполагать, что соответствующая лексика будет более устойчивой, чем чисто «экологическая». В совокупности с данными, полученными археологическими, палеоботаническими и палеозоологическими методами, это дает реальную возможность изучать древние переселения народов или межэтнические контакты с помощью комплексной междисциплинарной методики. Такое направление исследований кажется тем более перспективным, что сейчас имеется реальная возможность очертить относительно узкие ареалы доместикации животных и растений и картографировать пути их интродукции в новые районы (Шнирельман 1980; 1989; Shnirelman 1992).

Однако и здесь существуют свои пределы, ибо в условиях господства примитивной земледельческой техники выращивание определенных культурных растений имело строгие географические границы. Для преодоления последних необходимо было либо выводить новые культурные разновидности и изменять технику их выращивания (например, использовать ирригацию), либо окультуривать иные виды флоры, более подходящие для соответствующих условий. В последнем случае изменения неизбежно отражались и в лексике, т. е. либо имевшиеся термины могли переноситься на новые виды растений и менять свой смысл, либо вводились новые термины, а старые забывались или получали какое-то новое значение. Такая картина наблюдалась у многих групп афразийцев и дравидов, которые переселились из зоны зимних дождей, где основные культурные злаки были представлены пшеницей или ячменем, в зону летних дождей, где вместо них стали выращивать просо и сорго. В результате на общеафразийском и общедравидийском уровнях пока что не удается надежно реконструировать какие-либо термины для отдельных видов культурных злаков, кроме таких как «зерно», «злак» и пр. (Милитарев, Пейрос, Шнирельман 1988). Описанный процесс создает порой у специалистов впечатление, что земледелие у изучаемых групп было менее важным занятием, чем скотоводство (см., напр., Fairervis, Southworth 1989: 133 о ранних дравидах; Masica 1979: 68; Gimbutas 1985: 186-187 и Zvelebil, Zvelebil 1988: 581 о ранних индоевропейцах). Между тем, это впечатление, как правило, оказывается обманчивым.

По всей вероятности, именно с отмеченным явлением и связано слабое отражение терминологии для культурных злаков на общеиндоевропейском уровне, ибо позднейшие перемещения дочерних языков вызвали существенные семантические сдвиги (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 655-658). Очень странное впечатление производит реконструированная прасемитская лексема, которую принято переводить как «просо» и которая была заимствована в индоевропейские языки со значением «зерно, хлеб» (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 873; Dolgopolsky 1989: 5). Дело в том, что, как теперь надежно установлено, в переднеазиатском регионе проса не было ни в IV, ни в III тыс. до н. э. Следовательно, речь может идти о позднейшем переносе значения, которое современные авторы сочли за исконное. Поэтому вопрос о том, какое именно культурное растение скрывается за этим якобы общесемитским названием для проса, остается открытым.

Гораздо более устойчивой является терминология, связанная с одомашненным скотом, так как животные отличаются гораздо большей экологической пластичностью, чем растения, и имеют гораздо более широкие ареалы. Поэтому если, например, выращивание пшеницы и ячменя не проникло южнее Сахары в Африке и южнее Северного Декана в Индии, то разведение крупного и мелкого рогатого скота не испытывало там никаких сложностей. В этом смысле информация о путях диффузии одомашненных животных может оказаться для лингвоархеологических реконструкций более ценной, чем данные о культурных растениях. Действительно, праиндоевропейская лексика, связанная с одомашненными животными (лошадь, бык/корова, овца, коза, собака, свинья) оказывается много богаче, чем лексика для культурных растений (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2), на основании чего многие авторы считают праиндоевропейцев скотоводами по преимуществу. Тем не менее, отмеченная лучшая сохранность лексики, связанной с одомашненными животными, по сравнению с лексикой для культурных растений заставляет подходить к решению этого вопроса более осторожно. Не менее показательным является и термин для свиньи, не позволяющий реконструировать образ жизни древнейших индоевропейцев как основанный исключительно на подвижном скотоводстве.

Диффузия культуры и ее отражение в лексике

Судя по имеющимся данным, распространение производящего хозяйства по новым территориям очень часто происходило не столько в результате миграции ранних земледельцев, сколько в ходе заимствования навыков ведения производящего хозяйства соседними охотниками и собирателями (Шнирельман 1989; Dennell 1985; Zvelebil 1986; Zvelebil, Zvelebil 1988). Кстати, именно недооценка этого процесса К. Ренфрю (Renfrew 1987) вызвала критику его книги со стороны некоторых археологов (Barker 1988; Sherratt 1988; Sherratt, Sherratt 1988; Zvelebil, Zvelebil 1988). С этой точки зрения, огромное значение имеет вопрос о том, насколько регулярно диффузия культурных элементов сопровождалась заимствованием соответствующей лексики. Ясно, что для лингвистов именно языковой материал является главным источником для реконструкции исторического процесса. Как пишет И. М. Стеблин-Каменский, «исследование происхождения культурных слов и путей их проникновения в тот или иной язык имеет большое значение для изучения истории культуры народов, говорящих на этих языках» (Стеблин-Каменский 1982: 10). Но всегда ли реконструированные термины адекватно отражают реальный характер исторического процесса?

Обращение к реальным фактам показывает, что рассматриваемый процесс был весьма многообразным. Действительно, в ряде случаев заимствование элементов культуры сопровождалось и заимствованием соответствующих терминов. Так, перейдя под влиянием бантуязычных соседей к земледелию и скотоводству, сандаве Танзании заимствовали у них и земледельческо-скотоводческую лексику (названия для культурных растений, земледельческой деятельности и земледельческого инвентаря, скота, приготовленной пищи), но для диких растений и животных они сохранили свою традиционную терминологию (Newman 1970: 44-45). Однако даже и в таких случаях вопрос о направлении заимствования не всегда решается достаточно однозначно. Так, при наличии четких археологических, палеоботанических и ботанических данных о диффузии батата из Южной Америки в Полинезию, что подтверждается и общностью связанной с бататом терминологии, по одним только лингвистическим материалам не удастся надежно установить, в каком именно направлении (с востока на запад или наоборот) шло заимствование (O'Brien 1972; Yen 1974).

Изучение этнографических и этнолингвистических данных о заимствовании одомашненных животных и культурных растений показывает, что оно далеко не всегда сопровождалось параллельным заимствованием соответствующей терминологии (Masica 1979: 58-60; Шнирельман 1992). Во многих случаях реципиенты использовали для них иные термины, чем доноры. В целом можно назвать, по меньшей мере, пять источников таких терминов. Во-первых, простой перенос местных названий на заимствованные виды фауны и флоры (Witkowski, Brown 1983). Так, получив от белых торговцев пушиной картофель, селиши Северо-западного побережья Северной Америки перенесли на него название, прежде относившееся к стрелолисту, который давал похожие съедобные клубни (Suttles 1951: 277-278). Будучи завезен в Индию, картофель также получил здесь древнее санскритское название, которое ранее использовалось для таро (Masica 1979: 60). Аналогичным образом, познакомившись с земледельческой практикой, коряки стали использовать местный термин «йытватык» («ставить», «устанавливать») в значении «сажать», «сеять» (Сергеев 1955: 501).

Во-вторых, название для нового интродуцированного вида иногда вырабатывалось, исходя из представления о нем как о разновидности какого-либо местного давно известного вида, и ему давалось описательное название на местном языке. Так, основывая таксономию разновидностей маиса на цветовых различиях (k'anal? isim «желтый маис», sakil? isim «белый маис» и пр.), майя-целталь образовали по этому принципу и названия для интродуцированных испанцами пшеницы (kaslan? isim «кастильский маис») и сорго (mogo? isim «маврский маис»). Не зная истории этих названий и стоящих за ними реалий, можно дать им ошибочное толкование, тем более что соседние майя-чуй использовали название kaslan? isim для интродуцированного риса (Berlin et al. 1973: 222-223. См. также о названиях для батата и кассавы у бугов Южного Сулавеси: Visser 1986: 15). Аналогичным образом ительмены Камчатки стали называть хлеб «русской сараной» («брыхтатын-аукч») по названию съедобного растения, которое они собирали испокон веков (Шнирельман 1992b). Тому же правилу поначалу следовали и европейцы в Северной Америке, называя маис «пшеницей» (Will, Hyde 1964: 61).

В-третьих, для интродуцированных видов местное население могло использовать местные описательные термины. Например, сандаве Танзании использовали для маиса термин *n'ipi*, в переводе означающий «короткий», «низкорослый». Действительно, именно этим качеством маис отличался от других местных культурных растений — проса и сорго (Newman 1970: 45).

В-четвертых, реципиенты могли выработать новые названия для интродуцированных видов, основываясь на звукоподражании. Примером этому служит звукоподражательное название для кур и петухов во многих индоевропейских диалектах (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 601-602).

Наконец, еще один путь появления новых названий основан на ассоциации с какими-либо историческими событиями или реалиями. Так, кур и петухов к инкам завезли испанцы, которые казнили и последнего местного правителя по имени Ата-вальпа, отличавшегося необычайной жестокостью. Индейцы сочли, что интродуцированные петухи поют «ата-вальпа», подчеркивая вечное бесславие тирана. И постепенно термин «ата-вальпа» закрепился как название для кур и петухов. Кстати, сочтя этот термин за исконно местный, испанцы поначалу решили, что куры имелись в Перу до конкисты (Bea 1974: 608-613). Той же логики иной раз придерживаются и современные исследователи, излишне полагаясь на отдельные по видимости местные названия культурных растений для суждения о локализации очагов доместикиции последних (см., например, о раги: Porteres 1976).

В некоторых случаях со временем мог происходить семантический сдвиг. Так, древний санскритский термин для буйвола (*ustra*) позднее стал использоваться для обозначения верблюда (Masica 1979: 61).

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что единичные случайно отобранные лингвистические данные могут ввести в заблуждение исследователя, пытающегося извлечь из них историческую информацию. Надежные реконструкции можно получить, только обладая массовыми материалами, сопоставляя одни термины с другими, выделяя хронологические пласты лексики и, наконец, увязывая лингвистические данные с нелингвистическими. Ведь в ходе заимствования культурных реалий лингвистическая картина бывает довольно пестрой: для одних вещей могут использоваться местные термины, для других — заимствованные (Casagrande 1954). Так, получив одомашненного оленя от самодийцев, кеты перенесли на него свое название для дикого оленя, но зато заимствовали самодийский термин для холошеного оленя (Алексеев 1967: 69). Аналогичным образом папуасы-гадсуп, выработав на местной основе описательное название для интродуцированных коз, заимствовали извне название для крупного рогатого скота (DuToit 1975: 158). В обоих указанных случаях было бы неверным видеть в приведенных лингвистических фактах доказательство местной доместики северных оленей или коз, хотя формально они это допускают. Следовательно, для надежных утверждений о процессах заимствования или автохтонных инноваций необходима взаимопроверка выводов с помощью данных смежных наук: в частности, особенности доместики или, напротив, заимствования уже одомашненных животных можно проследить путем палеозоологических исследований.

Итак, рассмотренные примеры помогают сделать один важный вывод: сами по себе лингвистические данные не всегда позволяют надежно решить вопрос о происхождении тех или иных исторических реалий. Если реконструированные термины для культурных растений и одомашненных животных имеют местный характер, но, судя по палеозоологическим и палеоботаническим данным, соответствующие виды явно были заимствованы извне, то приходится говорить о том, что местные обитатели выработали свою терминологию для привнесенных элементов культуры. Ясно, насколько важна в таких случаях тесная кооперация лингвистов с археологами, палеоботаниками и палеозоологами.

Большое значение для характеристики древнего хозяйства имеют количественные показатели. Так, скажем, об интенсивности охоты или скотоводства, о роли отдельных видов животных в хозяйстве древнего населения археологи и палеозоологи обычно судят по соотношению костей отдельных видов животных в фаунистических коллекциях. Нельзя ли получить соответствующие показатели и методами сравнительного языкознания? Очень важную в этом отношении работу провел С. Браун, показавший, что по своему объему и характеру биологические терминологии у охотников-собираателей и ранних земледельцев существенно отличались (Brown 1985, 1986). И хотя проведенная в связи с его статьями дискуссия выявила определенные недочеты в его методике, в целом начатое им исследование можно признать весьма перспективным, а основную идею о связи терминологии с социокультурными ценностями — весьма плодотворной.

Этнолингвистические данные показывают, что детально разработанная этноботаническая или этнозоологическая терминология, как правило, связывалась именно с теми видами растений и животных, которые имели большое хозяйственное значение. При этом для важнейшего растения могла существовать богатая номенклатура терминов, связанных со степенью его зрелости, с его разновидностями, различавшимися по цвету, форме, вкусу, характеру цветения и т. д., а для животных эта номенклатура могла учитывать половозрастные категории, сезонные изменения в облике, поведенческие особенности и т. д. (Nida 1958: 283). Все это, так или иначе, нашло отражение в языках многих народов мира: взять хотя бы термины для пшеницы у грузин (Брегадзе 1982), для маиса у индейцев-мая (Berlin et al. 1973: 222-223), для банана у яноама в Венесуэле (Smole 1976: 118-119), для моржа у эскимосов и северных оленей у чукчей (Меновщиков 1969: 113, 116), для верблюда у бедуинов (Штайн 1981: 43), для газели, на которую охотились бедуины-руала (Musil 1928), для крупного рогатого скота у нуэров Судана (Evans-Pritchard 1940: 41 ff.), для лошади у казахов (Тохтабаев 1992) и т. д. Все это дает основание предполагать, что такая же ситуация должна фиксироваться и на уровне праязыков, и ее выявление способно дать более точную информацию о характере хозяйства их носителей. Действительно, по данным А. Ю. Милитарева, из всех названий для, безусловно, диких животных в праафразийском языке наиболее часто встречаются термины для антилоп или газелей. Это может свидетельствовать о большой роли последних в качестве объектов охоты и в свою очередь является дополнительным аргументом в пользу отождествления праафразийцев с населением Сиро-Палестинского региона натуфийского или начала раннеолитического периодов, когда охота на газелей являлась здесь главным источником белковой пищи (Милитарев, Шнирельман 1984; Militarev, Shnirelman 1988).

Естественно лингвоархеологические сопоставления такого рода требуют максимальной лингвистической информации о праязыковой лексике, связанной с фауной и флорой. Иначе говоря, для количественной оценки требуются не просто отдельные термины, характеризующие ту или иную сферу культуры, а максимально полные списки этих терминов, позволяющие оценить значение соответствующей сферы в общекультурном контексте. Само собой разумеется, что такая оценка возможна лишь при наличии целых списков культурной лексики (Абаев 1952: 48). Соответствующие данные далеко не всегда фигурируют в имеющихся словарях. Вот уже почти шестьдесят лет назад как раздался призыв к их тщательным полевым сборам (Nida 1958), однако и до сих пор многое в этом отношении еще предстоит сделать.

Существует еще одна причина, по которой с одним и тем же видом животных или каким-либо другим явлением связаны два разных блока терминов. Это — распространенное в традиционных культурах деление мира на сакральную и профанную сферы. Так, у пигмеев-бака в Юго-восточном Камеруне огромную роль играли коллективные охоты на крупных животных, в

особенности, на слонов. Со слонами была связана разветвленная терминология, отражавшая половозрастные особенности, черты экстерьера и т. д. (37 разных терминов). В некоторых контекстах для слона могли просто использовать термин, означавший мясо. Однако имелся и иной блок терминов, связанных с представлениями о наделенных сверхъестественной силой особых слонах, в которых вселялись духи мертвых (прежде всего колдунов и великих охотников) (Joiris 1990). Деление объектов материального мира на священные и профанные встречалось и у некоторых групп австралийских аборигенов (Thomson 1949: 46-48). Именно по этой модели в древних индоевропейских традициях сформировались по два блока терминов для волка и для пищи (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 492-494, 697-698, 701).

Тип хозяйства и его отражение в языке

Большую роль в реконструкциях играют заимствованные термины для материальной культуры, позволяющие зафиксировать появление инноваций. Однако интерпретация заимствованной хозяйственной лексики требует осторожности, ибо, как показывают этнографические данные, она не всегда адекватно описывает хозяйственную роль соответствующих реалий. Так, получив в 1960 г. от бразильцев специфическую разновидность маиса, а также фасоль, помидоры и тыквы вместе с соответствующими чужеродными названиями, индейцы-яноама начали разводить их для обмена, но сами в пищу не употребляли (Smole 1976: 125-126). И это — не уникальный случай. Подобным же образом папуасы-бонгу разводят интродуцированный крупный рогатый скот на продажу, но сами не едят говядину и не доят коров. При этом они называют крупный рогатый скот словом «бика», т. е. сохраняют термин, напоминающий о Н. Н. Миклухо-Маклае, который завез туда первого бычка и познакомил папуасов с его русским названием (Тумаркин 1975: 101). По расчетам С. Брауна, до 10 % терминов в ботанической номенклатуре современных охотников и собирателей связаны с культурными растениями, но это вовсе не обязательно означает, что они сами их выращивают (Brown 1985: 62).

Этнографам хорошо известны примеры, когда местное население знало о производящем хозяйстве, которым занимались его соседи, заимствовало у последних лексику для культурных растений и одомашненных животных, но само избегало заниматься земледелием и скотоводством. Это фиксировалось, например, у индейцев-уошо в Восточной Калифорнии, которые заимствовали у испанцев лексику, связанную с одомашненными животными, но по ряду экологических и психологических причин враждебно относились к занятию скотоводством (Downs 1963: 138-150; Bright 1960). В языки некоторых памирских народов названия для ряда культурных растений попали вместе с бродячими фольклорными сюжетами, но сами эти растения к ним не проникли, что можно объяснить частично экологическими, частично общекультурными причинами (Стеблин-Каменский 1982).

В некоторых контекстах разнообразные диалектные термины для каких-либо уже имеющихся реалий могут замениться универсальным иноязычным термином. Так, в зоне интенсивных финско-русских контактов диалектные русские названия для отдельных частей орудий заменились финскими терминами, хотя это не сопровождалось соответствующими заимствованиями материальной культуры (Якубинский 1926. О других примерах подобного рода см. Masica 1979: 61).

Вместе с тем, судя по данным С. Брауна, количественный показатель сам по себе может служить важным, хотя и косвенным, индикатором хозяйственной деятельности, ибо объем биологической терминологии в языках ранних земледельцев приблизительно втрое превышает тот, который встречается у охотников и собирателей. Это отчасти отражает неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию у ранних земледельцев, вызывающую особый интерес к лечебным травам, что в свою очередь порождает развитие соответствующей терминологии (Brown 1985: 47-50). Эта закономерность также открывает определенные перспективы для корреляции лингвистических данных с археологическими и палеоботаническими.

Есть ли возможность более или менее точно определить соотношение разных видов хозяйственной деятельности по данным языка? Да, если иметь представление о реальном таком соотношении в этнографической действительности. Например, на основании прасамодийской оленеводческой лексики Е. А. Хелимский предполагал, что уже у прасамодийцев имелось развитое оленеводство (Хелимский 1989: 6). Однако, судя по этноисторическим данным, развитое кочевое крупностадное оленеводство возникло на Севере только в XVII-XVIII вв. (Шнирельман 1980: 184), а в предшествующий период оленей было немного и их разведение имело второстепенный характер. Как согласовать эти данные? Известно, что развитое оленеводство и высокоэффективное рыболовство являются на Севере альтернативными системами. В рамках одного и того же хозяйства они сосуществовать не могут, ибо требуют различного сезонного поведения, разной степени оседлости и пр. Но прасамодийская лексика ясно указывает на наличие интенсивной рыболовецкой практики (запорное рыболовство, лабазы на четырех столбах), а это значит, что прасамодийцам была свойственна таежная модель оленеводства, при которой олени могли иметь исключительно транспортное значение.

Что означает богатство?

Лингвистические лексические реконструкции имеют особое значение, когда они освещают те сферы человеческой

деятельности, которые слабо отражены в археологии или не могут быть надежно реконструированы на чисто археологическом материале за отсутствием надежной методики. Одной из таких сфер, важность которой трудно переоценить, является социальная или социально-экономическая. Вместе с тем, связанная с ней терминология также требует для своей интерпретации определенных этнологических знаний о ее возможном контексте. Так, в индоевропеистике уже тривиальным стало объяснение термина «богатство» как деривата понятия, связанного со скотом (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 579; Старостин 1988: 115, 132, 133, 156). Действительно, можно привести массу примеров в поддержку этого вывода. Так, у кикуйю Кении (Routledge, Routledge 1910: 44) и тонга Замбии (Colson 1967: 37) мерой ценности и единицей стоимости была коза, у киргизов овцы служили основной денежной единицей при сделках (Погорельский, Батраков 1930: 68), в государстве Конго обменным эквивалентом служили одомашненные животные (овцы, козы, свиньи и пр.) (Ekholm 1972: 90), у туарегов Сахары термины для «большого стада коз/овец» и «денег» были тождественны, и они расплачивались, например, с кузнецами козами (Nicolaisen 1963: 34), казахи называли скот «живым имуществом» (Фиельструп 1927: 99), у русского населения Северного Кавказа овечья шкура служила символом овечьего стада, а значит — и богатства (Чурсин 1913: 131) и т. д.

Вместе с тем, понятие «богатство» возникло, видимо, задолго до появления производящего хозяйства, а тем более развитого скотоводства и далеко не всегда ассоциировалось с материальными ценностями, с имуществом. Есть основания полагать, что первоначально под богатством понимались многочисленные родственники, которые в случае надобности могли придти на помощь и которыми люди гордились. Так, охотники и собиратели окиек (доробо) Кении имели особую категорию «своих людей», т. е. родственников, которыми они гордились и на которых рассчитывали (Kratz 1990), у атапасков-зайцев «бедными» считались люди, у которых было мало родных и собак (Savishinski 1974: 180), ительмены Камчатки признавали богатым того, у кого была хорошая жена, имелись собаки и было много пищи и одежды (Крашенинников 1949: 692), а у ряда атапасских групп, где особенно ценились знания, некоторые женщины считали богатством свои рассказы (Cruikshank 1990). У аборигенов некоторых северных районов Австралии богатство ассоциировалось с материальными ценностями, но понималось, прежде всего, с точки зрения престижности, никакого социального расслоения по признаку богатства там не было (Thomson 1949).

Сходная картина встречалась и у некоторых групп ранних земледельцев. Так, у пиароа Венесуэлы богатство отождествлялось с жизнью в многолюдном доме под защитой сильного лидера (Kaplan 1975: 30), у ваиваи оно ассоциировалось с женским трудом и потомством (Mentore 1987). Эта архаическая концепция встречалась даже в достаточно развитом обществе хауса, где в категорию богатства включали не только материальные ценности, а и родичей и друзей. С ней там тесно ассоциировалось и понятие щедрости (Следзевский 1974: 14-16). Такого рода отношение к богатству сохранилось кое-где даже у народов Кавказа. Скажем, кумыки называли богачом «человека с широкой душой, в которой есть место родственникам, друзьям и гостю, конечно. Богач — это человек, у которого море чувств и мыслей, к нему, как к роднику, тянутся люди» (Аджиев 1992: 31). В такую широкую категорию со временем мог быть включен и скот. Эта линия эволюции явственно просматривается у тонга Замбии, где все движимое имущество входило в единую категорию богатства («лубоно»), хотя в узком смысле под богатством подразумевался именно скот (Colson 1967: 37). Возможно, близкую смысловую нагрузку на первых порах нес праиндоевропейский термин *reku («индивидуальное движимое имущество»). Во всяком случае, как показал Э. Бенвенист, ассоциация его со скотом как частью движимого имущества возникла лишь со временем (Benveniste 1970).

Анализ праиндоевропейской лексики позволяет предполагать, что праиндоевропейцы терминологически различали уже несколько разных категорий богатства/имущества в зависимости от его происхождения и функции (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 579, 746, 747). Среди соответствующих терминов сохранился, по крайней мере, один, в котором можно проследить остатки древнейшей архаической концепции богатства, о которой шла речь выше. Это — «сирота», «ребенок, лишенный родителей и имущества». Такой человек, утративший надлежащие родственные связи, считался потерявшим благоволение богов. И именно из таких людей формировалась категория «несвободных» (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 747-748). В принципе эта линия эволюции нередко встречалась и в других регионах мира. Так, у некоторых групп Южной Африки термином «раб» обозначался не только бесправный зависимый, но и вообще безродный человек. Его, например, использовали для пришельцев извне, чужаков, путешественников, т. е. тех, кто не был связан с местным населением ни родством, ни совместным обитанием (Lancaster 1987: 115).

Распространение языков и межкультурное взаимодействие – возможные варианты

Еще одна важная проблема связана с интерпретацией процесса распространения древних языков. Нередко ее решение представляется отдельным авторам слишком упрощенно в виде безусловного расселения каких-либо этнически гомогенных общностей. В принципе именно эта модель лежит в основе концепции К. Ренфрю (Renfrew 1987) и, отчасти, построений Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова о расселении индоевропейских групп по значительным территориям. Конечно, некоторые из этих авторов (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 887) хорошо сознают возможную роль субстрата и в ряде случаев упоминают о предшествующем субстрате, но специально не анализируют особенности контактов пришельцев с местным населением и возможность перехода последнего на индоевропейские языки. Вряд ли можно спорить, что в древнейшей истории наблюдались примеры расселения по девственной территории, и в этих случаях речь действительно шла о расселении гомогенных этнолингвистических групп, а лингвистический процесс сводился, в основном, к дроблению единого языка на диалекты. Однако уже для эпохи неолита и, особенно для более поздних эпох эта картина была скорее исключением, чем

правилом. Эти периоды отличались интенсивными этнокультурными контактами, обменом культурными достижениями и иной информацией, аккультурацией и ассимиляцией, что, безусловно, порождало и достаточно сложные лингвистические процессы (ср. Ehret 1988: 569-571). И совершенно ясно, что для указанных эпох последние нельзя рассматривать в отрыве от общекультурного контекста. Поэтому решение обсуждаемых проблем представляется мне, как и многим другим отечественным исследователям (Токарев 1949; Чебоксаров 1964; Алексеев 1986; Милитарев, Пейрос, Шнирельман 1988), комплексной задачей, требующей привлечения специалистов разного профиля и разработки на междисциплинарной основе.

Очевидно, отмеченное явление необходимо учитывать при анализе процессов образования крупных языковых семей типа афразийской, эламо-дравидской, индоевропейской. Такой анализ, как представляется, всегда должен допускать наличие нескольких разных процессов в зависимости от конкретной обстановки контактов (Милитарев, Пейрос, Шнирельман 1988: 30-31). Если местное население было представлено мелкими рассеянными группами бродячих охотников и собирателей, то пришельцы, как правило, поглощали их и в сформировавшемся обществе доминировали язык, культура и физические черты пришельцев, хотя в ряде случаев могли сохраняться и некоторые особенности местного населения. Примером служит расселение бантуязычных народов. О смешанном характере их южных групп говорят щелкающие звуки в языке и отдельные черты физического типа, указывающие на включение койсанского населения в состав местных обществ.

Если же местное население состояло из относительно крупных групп, ведущих высокоэффективное присваивающее хозяйство, то это могло служить серьезным препятствием для продвижения мигрантов и для распространения производящего хозяйства вширь. При определенных условиях здесь наблюдалось и этническое смешение, происходившее либо на равноправных началах, либо с некоторым перевесом той или иной стороны в зависимости от конкретной социокультурной ситуации. При этом побеждал либо местный язык, либо язык пришельцев, а культура местного населения изменялась в той мере, в какой это требовалось степенью перехода к производящему хозяйству. Первый вариант встречался, в частности, у чукчей и, по-видимому, у готтентотов, которые перешли к скотоводческому образу жизни, заимствовав скот извне, но сохранив свой язык и физический тип. Второй вариант представлен, например, современными чадцами, физические предки которых в условиях перехода к производящему хозяйству сохранили свой прежний антропологический тип, но перешли на язык пришельцев-афразийцев.

Если же аборигенное население обитало в особой экологической обстановке, недоступной для распространения производящего хозяйства в его исконной форме, то могла наблюдаться ситуация, когда бродячие охотники и собиратели заимствовали у пришельцев язык и некоторые элементы культуры, но еще долго сохраняли свое традиционное хозяйство (пигмеи-мбути, ченчу, аэта, некоторые аслийские народы и т. д.).

Следовательно, если взять процесс распространения производящего хозяйства, то современные данные свидетельствуют о том, что во многих случаях речь шла не столько о расселении собственно земледельцев и скотоводов, сколько о заимствовании новых методов ведения хозяйства соседствующими с ними охотниками и собирателями. На этой основе достаточно часто и происходило формирование вторичных очагов производящего хозяйства, население которых, восприняв земледельческую технику извне, либо переходило на язык более развитых соседей, либо, по крайней мере, заимствовало у них целые пласты соответствующей лексики. С этой идеей, высказывавшейся мною неоднократно (Шнирельман 1980, 1989), солидаризировался и К. Ренфрю (Renfrew 1989: 118-121; 1992: 455-457).

В 1970-1980-е гг. этот процесс аккультурации неоднократно демонстрировался на материалах европейского раннего неолита, где, наряду с интродуцированными видами культурных растений и одомашненных животных, наблюдалось устойчивое сохранение некоторых элементов местных мезолитических традиций (в орудийном комплексе, домостроительстве и т. д.), а иногда там фиксировалось и сохранение местного антропологического типа (Dennell 1985; Guilaine 1987; Zvelebil, Zvelebil 1988).

Аналогичная ситуация зафиксирована в Южном Египте в оазисе Набта Плайя, где явно переднеазиатские культурные знаки (эммер) и одомашненные животные (овцы и козы) были найдены в одном комплексе с останками людей местного негроидного облика. Позднее нечто подобное (интродуцированные одомашненные животные в земледельческо-скотоводческом контексте в целом местного африканского облика, созданного людьми негроидного типа) наблюдалось в Южной Сахаре и Сахеле в позднем неолите (Шнирельман 1980: 98-99, 104-109; 1989: 203-204, 213-222), что, возможно, позволяет говорить о сложении земледельческо-скотоводческой культуры у древних чадцев, которые именно в этот период могли перейти на афразийские языки, сохранив негроидный антропологический тип.

Еще один пример такого же процесса зафиксирован на территории США в долине р. Пекос (в юго-восточной части штата Нью-Мексико). Там в XIII-XIV вв. н. э. внезапно появились раннеземледельческие поселки, родственные более западной культуре могольон. И по остаткам материальной культуры можно было бы говорить об интрузии сюда создателей этой культуры, если бы физический тип погребенных в могильнике Хендерсон резко не отличался от них. Поэтому исследователи резонно предполагают, что речь шла не о миграции, а о диффузии культуры могольон, которая была усвоена местным населением долины р. Пекос (Rossek, Speth 1986). Сходные процессы этнического смешения происходили и в Южной Африке в ходе расселения бантуязычных народов. О смешанном характере некоторых их групп говорят отдельные черты физического типа и, возможно, щелкающие звуки в языке, указывающие на ассимиляцию местного более древнего койсанского населения

(Hiernaux 1974: 187; Murphy 1974: 22).

К сожалению, в истории встречались и примеры другого рода, когда межэтнические контакты не находили никакого отражения в материальной культуре контактировавших обществ. В этих случаях они порой могут фиксироваться только средствами лингвистики, при том что археологические данные хранят полное молчание. Так, несмотря на общение коренного населения некоторых районов Аляски с русскими на протяжении двух поколений, эти контакты по археологическим данным проследить не удалось (Oswalt, van Stone 1967).

Таким образом, многообразие возможных вариантов в ряде случаев создает большие сложности для лингво-археологических реконструкций. В этом отношении едва ли не хрестоматийной является до сих пор окончательно не решенная проблема ранних индоевропейско-финноугорских контактов, в ходе которых финно-угры познакомились с навыками ведения производящего хозяйства. Предполагается, что эти контакты имели место в восточной части восточно-европейской равнины (Готье 1930: 133). Установлено, что в лесные районы Среднего Поволжья, где тогда обитали древнейшие финноязычные группы, первые элементы производящего хозяйства начали проникать с рубежа III-II тыс. до н. э. Археологически эти находки представлены домашними животными и, прежде всего, свиньями (Петренко 1984: 119-120). Можно предполагать и знакомство с самыми зачаточными формами земледелия, хотя прямых данных о нем еще нет (Краснов 1971: 157 сл.), и местные предки финнов описываются, прежде всего, как охотники, рыболовы и собиратели (Патрушев 1992: 11-15). Как бы то ни было, на первый взгляд все это хорошо увязывается с раннеиранскими (Абаев 1972; Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 933-934. Ср. Георгиев 1958: 245-246; Dolgorpolsky 1989: 20-21) или, что менее вероятно, с ранними индоарийскими (Redei 1986: 24) заимствованиями в прафинском языке типа *rogsas «свинья» и *juva «злак, ячмень». Но, судя по археологическим данным, навыки раннего производящего хозяйства в Среднее Поволжье принесли фатьяновцы и балановцы, которых никто никогда с индоиранцами не ассоциировал. В то же время степные обитатели рассматриваемой эпохи, которых разные авторы идентифицируют с индоиранцами или иранцами, не разводили свиней. Следовательно, данная проблема нуждается в дополнительном междисциплинарном исследовании.

Смена языка и его культурный контекст

Более детально картину этнических контактов и этнокультурного обмена подобного рода можно представить, исходя из этнографических данных о контактах охотников и собирателей с соседними земледельцами и скотоводами (Шнирельман 1982а, 1982б). Материалы о пигмеях Заира, бушменах Намибии, сандаве и хадза Танзании, аэта о. Лусон (Филиппины), семангах Малаккского п-ова свидетельствуют о том, что результаты таких контактов могли быть очень разными (иногда охотники и собиратели заимствовали различные элементы культуры у соседних земледельцев, но сохраняли прежний образ жизни; в ряде случаев под влиянием последних они сами переходили к производящему хозяйству), но, как правило, охотники и собиратели утрачивали свой исконный язык и переходили на язык соседних земледельцев. При этом встречались и такие случаи, когда такой язык сохранялся до наших дней только у заимствовавших его охотников и собирателей, тогда как потомки его исконных носителей утрачивали его. Такова, например, судьба южнокушитского языка дахало (Ehret 1976: 8). О неоднозначности результатов контактов между охотниками-собирателями и земледельцами свидетельствует пример пигмеев-мбути и их соседей-земледельцев. Мбути заимствовали много элементов культуры и перешли на языки соседей, сохранив при этом исконный охотничье-собирательский образ жизни и физический тип. Зато их соседи суданцы-лезу и банту-бира сохранили свои языки и культуру, но несколько изменили свой физический тип. Последнее было связано с тем, что земледельцы иногда брали в жены пигмеев, причем дети от таких браков оставались в общинах отцов. Зато мужчины-пигмеи вступали в брак только с пигмейками (Turnbull 1965: 161, 229).

Одним словом, очень часто язык менял свои пространственные границы не столько в ходе миграции населения, сколько в результате заимствования его одними группами у других (Дьяконов 1983: 13-14). Но если это так, то огромное значение приобретает изучение многих языков мира с точки зрения наличия и сочетания в них субстратных и суперстратных явлений. В методологическом смысле огромное значение имеет характеристика субстрата, данная в свое время В. И. Абаевым: «язык, помимо того, что он связан с определенной артикуляционной базой, имеет слишком глубокие корни в жизни народа, слишком глубоко и интимно связан с его хозяйственными и социальными навыками и традициями, с его психологическим складом. Поэтому переход с одного языка на другой есть процесс сложный и трудный. Как бы велико ни было субъективное желание овладеть новым языком в точности и совершенстве, это желание не реализуется полностью. Какие-то качества родного языка в фонетике, лексике, семантике, типологии удерживаются помимо воли и сознания говорящих и продолжают «просвечивать» сквозь наложившуюся оболочку новой речи. В результате воспринятый чужой язык приобретает в данной среде особый своеобразный характер, отличный от того, какой он имел в исходной среде. Это своеобразие мы и объясняем наличием здесь иноязычной подпочвы, или... субстрата» (Абаев 1956: 57).

Исследования субстратных явлений в сравнительном языкознании ведутся, и уже сейчас можно твердо говорить об австронезийском субстрате в японском языке (Lewin 1976; Muraуama 1976), центральнокушитского в эфиосемитском (Ehret 1979), абхазо-адыгских в сванском (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т.2: 881). Следы какого-то неясного субстрата были обнаружены в лексике индоарийского и раннего дравидийского языков (Fairservis, Southworth 1989: 137). В последние годы

лингвисты все чаще пишут о доиндоевропейском субстрате в индоевропейских языках: урартском в армянском (Дьяконов 1989: 21), каких-то доиндоевропейских языков в греческом (Откупщиков 1988), а также в языках Центральной и Северной Европы (Polome 1990) и т. д. (Problemi 1983). Сам В. И. Абаев отмечал, что, так как индоевропейские языки распространялись не на пустом месте, то многие из них (например, романские, осетинский, армянский и др.) испытали воздействие субстрата (Абаев 1956: 57, 58, 61, 62). Однако, несмотря на всю их перспективность, пока что таких исследований было проведено еще очень немного.

Как и при каких условиях древние этносы могли переходить с одного языка на другой? Моделированию этого процесса, как мне представляется, могли бы содействовать детальные исследования в странах третьего мира, где в недавнем прошлом или же буквально на глазах у ученых отдельные этнические группы переходили с одного языка на другой (Ehret 1988: 569-571). Пример такого исследования дает работа Дж. Уинтера, который проследил соответствующий языковой процесс у охотников и собирателей Северной Танзании, которые в XVIII-XIX вв. говорили на южнокушитском языке аасакс (Winter 1979). В XIX в. аасакс находились в тесных контактах с масаями, обменивались с ними элементами культуры и человеческими ресурсами и в качестве второго языка активно использовали восточнонилотский язык маа. В 1890-х гг. скотоводство у масаев было подорвано эпизоотией, и многие масаи поселились вместе с аасакс. Обладая среди них привилегированным положением, масаи без труда добились господства своего языка, на котором с этих пор полагалось говорить всем обитателям поселков, независимо от их этнического происхождения. На этом этапе язык аасакс превратился в мужской охотничий язык, и мужчины аасакс говорили на нем только вне поселков. Этому способствовало то, что среди масаев существовало табу на охоту. Третий этап наступил в самом начале XX в., когда из-за разкого уменьшения поголовья диких животных немецкая администрация территории ввела запрет на охоту, и масаи вместе с аасакс были помещены в резервацию. В этих условиях аасакс перешли к скотоводству, а язык аасакс получил статус мужского языка. Поддержанию своей культуры и некоторой обособленности от масаев аасакс в эти годы помогал административный контроль, спасавший их от набегов масаев. Последний этап наступил в 1916-1918 гг., когда в связи с переходом местных территорий под надзор британских властей контроль над местными племенами ослабел, начались войны и аасакс потеряли весь свой скот. Вернуться к охоте они уже не могли, и их главари решили распустить людей племени. Так пришел конец аасакс как отдельной этнической группы, и ее язык окончательно исчез. Весь процесс смены языка занял, таким образом, около тридцати лет.

Разумеется, некоторые своеобразные черты рассмотренного примера вызывались конкретной источеской обстановкой, связанной с колониальной ситуацией. Вместе с тем, здесь проявились и достаточно общие закономерности, подтверждающиеся и другими материалами. Это — неспособность бродячих охотников и собирателей сколько-нибудь долго сохранять свой язык в условиях интенсивных контактов с более сильными соседями, в особенности, если сами эти охотники и собиратели под влиянием последних переходили к земледелию и скотоводству. Думаю, что из этой рабочей гипотезы можно исходить, фиксируя археологическую картину интенсивных контактов между первобытными земледельцами и бродячими охотниками и собирателями. Вместе с тем, чтобы представить процесс перехода с одного языка на другой во всей его вариативности, необходимы новые исследования, подобные тому, которое провел Д. Уинтер. Такие исследования, проведенные, например, в Папуа Новой Гвинее, подтверждают тот факт, что в обстановке очень тесных этнокультурных контактов, усугубленной военной угрозой, у небольших этнических групп не оставалось иного выбора, кроме перехода на языки более могущественных соседей (Dutton 1982: 251-252).

Выводы

Резюмируя все вышеотмеченное, я должен еще раз подчеркнуть, что лингвистические реконструкции могут использоваться для исторических построений только после соответствующего источниковедческого анализа. При этом следует учитывать, что лингвистические и археологические источники могут отражать исторический процесс весьма по-разному, и это создает почву для некоторых противоречий, возникающих при работе по корреляции этих данных друг с другом. Так, лингвистические и археологические материалы могут отражать разные стадии одного и того же процесса, либо разные его стороны. В частности, если по археологическим данным фиксируется проникновение каких-либо элементов культуры извне, то лингвистически этот процесс может и не улавливаться в силу переноса старых названий на новые реалии. Возможен и противоположный случай, когда названия могут заимствоваться без соответствующих реалий. Нет и жесткой связи между распространением языка и миграцией населения. Может быть, поэтому в последние годы лингвисты гораздо чаще делают вывод о переселениях, чем археологи и палеоантропологи, нередко отдающие предпочтение выводу о местной автохтонной эволюции. Мне представляется, что вопрос об объективных предпосылках несоответствий между лингвистическими и археологическими выводами заслуживает пристального внимания. Думаю, что здесь смогут помочь интенсивные исследования в области этно- и социолингвистики, а также лингвистики контактов, чему и была посвящена данная работа.

Литература.

Абаев 1952 — Абаев В. И. История языка и история народа // Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина

по языкознанию. М.

Абаев 1956 — Абаев В. И. О языковом субстрате // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. М., Вып.9.

Абаев 1972 — Абаев В. И. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов // Древний Восток и античный мир. М.

Аджиев 1992 — Аджиев М. И. Мы — из рода половецкого! Рыбинск.

Алексеев 1986 — Алексеев В. П. Этногенез. М.

Алексеенко 1967 — Алексеенко Е. А. Кеты. Л.

Алекшин 1990 — Алекшин В. А. Происхождение халафской культуры и проблема локализации индоевропейской прародины // Междисциплинарные исследования культурогенеза и этногенеза Армянского нагорья и сопредельных областей. Ереван.

Антропова 1971 — Антропова В. В. Культура и быт коряков. Л.

Арапов, Херц 1974 — Арапов М. В., Херц М. М. Математические методы в исторической лингвистике. М.

Арутюнов 1982 — Арутюнов С. А. Этнические общности доклассовой эпохи // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М.

Брегадзе 1982 — Брегадзе Н. А. Очерки по агроэтнографии Грузии. Тбилиси.

Вега 1974 — Вега Г. де ла. История государства инков. Л.

Гамкрелидзе, Иванов 1984 — Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. 1-2. Тбилиси.

Георгиев 1958 — Георгиев В. И. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. М.

Готье 1930 — Готье Ю. В. Железный век в Восточной Европе. М.-Л.

Долуханов 1989 — Долуханов П. М. Экология и этнические процессы на территории древней Передней Азии // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Материалы к дискуссиям на международной конференции. М. Часть 3.

Долуханов 1990 — Долуханов П. М. Палеоэтнические процессы на территории Передней Азии и Кавказа по данным археологии и смежных дисциплин // Междисциплинарные исследования культурогенеза и этногенеза Армянского нагорья и сопредельных областей. Ереван.

Дьяконов 1983 — Дьяконов И. М. Типы этнических передвижений в ранней древности // Древний Восток. Ереван, т.4.

Дьяконов 1989 — Дьяконов И. М. Языковые контакты на Кавказе и Ближнем Востоке // Кавказ и цивилизации Древнего Востока. Орджоникидзе.

Инал-Ипа 1965 — Инал-Ипа Ш. Д. Абхазы. Сухуми.

Клейн 1978 — Клейн Л. С. Археологические источники. Л.

Краснов 1971 — Краснов Ю. А. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Европы. М.

Крашенинников 1949 — Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. Л.

Меновщиков 1969 — Меновщиков Г. А. О некоторых социальных аспектах эволюции языка // Вопросы социальной лингвистики. Л.

Милитарев, Шнирельман 1984 — Милитарев А. Ю., Шнирельман В. А. К проблеме локализации древнейших афразийцев: опыт лингвоархеологической реконструкции // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Тезисы и доклады конференции. М. Часть 2.

Милитарев, Пейрос, Шнирельман 1988 — Милитарев А. Ю., Пейрос И. И., Шнирельман В. А. Методические проблемы

лингвоархеологических реконструкций этногенеза // Советская этнография, № 4.

Меркулова 1965 — Меркулова В. А. О некоторых принципах этимологии названий растений // Этимология, 1964. М.

Откупщиков 1988 — Откупщиков Ю. В. Догреческий субстрат. Л.

Патрушев 1992 — Патрушев В. С. Финно-угры России. Йошкар-Ола.

Пейрос, Шнирельман 1987 — Пейрос И. И., Шнирельман В. А. Об особенностях формирования раннего земледельческого комплекса в Южной Азии // X авторско-читательская конференция «Вестника древней истории» АН СССР. Тезисы докладов. М.

Пейрос, Шнирельман 1989а. — Пейрос И. И., Шнирельман В. А. Происхождение рисоводства и проблемы междисциплинарных лингвоархеологических исследований // Становление региона: интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии. М.

Пейрос, Шнирельман 1989б — Пейрос И. И., Шнирельман В. А. Возникновение рисоводства по данным междисциплинарных исследований // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Материалы к дискуссиям на международной конференции. М. Часть 1.

Пейрос, Шнирельман 1992 — Пейрос И. И., Шнирельман В. А. В поисках прародины дравидов // Вестник древней истории, № 1.

Петренко 1984 — Петренко А. Г. Древнее и средневековое животноводство Среднего Поволжья и Предуралья. М.

Погорельский, Батраков 1930 — Погорельский П., Батраков В. Экономика кочевого аула Киргизстана. М.

Сводеш 1960а — Сводеш М. Лексико-статистическое датирование доисторических этнических контактов (на материале племен эскимосов и североамериканских индейцев) // Новое в лингвистике. М. Вып. 1.

Сводеш 1960б — Сводеш М. К вопросу о повышении точности в лексико-статистическом датировании // Новое в лингвистике. М., Вып. 1.

Сергеев 1955 — Сергеев М. А. Некапиталистический путь развития малых народов Севера. М.-Л.

Следзевский 1974 — Следзевский И. В. Хаусанские эмираты северной Нигерии. Хозяйство и общественно-политический строй. М.

Старостин 1988 — Старостин С. А. Индоевропейско-северокавказские изоглоссы // Древний Восток: этнокультурные связи. М.

Старостин 1989 — Старостин С. А. Сравнительно-историческое языкознание и лексикостатистика // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Материалы к дискуссиям. М. Часть 1.

Стеблин-Каменский 1982 — Стеблин-Каменский И. М. Очерки по истории лексики памирских языков. Названия культурных растений. М.

Телегин 1992 — Телегин Д. Я. Опыт комплексного изучения археологических и лингвистических данных при решении этнокультурных вопросов по материалам Поднепровья // XVII Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Махачкала.

Токарев 1949 — Токарев С. А. К постановке проблем этногенеза // Советская этнография, № 3.

Тохтабаев 1992 — Тохтабаев А. Коневодство казахов в XIX — начале XX в. Алма-Ата.

Тумаркин 1975 — Тумаркин Д. Д. Хозяйство папуасов бонгу // На берегу Маклая. М.

Фиельstrup 1927 — Фиельstrup Ф. Скотоводство и кочевание в части степей Западного Казахстана // Казаки. Антропологические очерки. Л.

Халиков 1993 — Халиков А. Х. Уральцы и дравидийцы на севере центральной части Евразии // Археологические культуры и культурно-исторические общности большого Урала. Екатеринбург.

- Хелимский 1989 — Хелимский Е. А. Самодийская лингвистическая реконструкция и праистория самодийцев // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Материалы к дискуссиям. М. Часть 2.
- Чебоксаров 1964 — Чебоксаров Н. Н. Проблемы происхождения древних и современных народов. М.
- Черных 1987 — Черных Е. Н. Протоиндоевропейцы в системе циркумпонтийской провинции // Античная балканистика. М., т.5
- Членова 1984 — Членова Н. Л. О времени появления ираноязычного населения в Северном Причерноморье // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М.
- Чурсин 1913 — Чурсин Г. Ф. Очерки по этнологии Кавказа. Тифлис.
- Шнирельман 1980 — Шнирельман В. А. Происхождение скотоводства. М.
- Шнирельман 1982a — Шнирельман В. А. Этнокультурные контакты и переход к производящему хозяйству (по материалам Африки и Азии) // Советская этнография, № 2.
- Шнирельман 1982б — Шнирельман В. А. Инновации и культурная преемственность (на примере афроазиатских обществ с присваивающим и производящим хозяйством) // Народы Азии и Африки, № 5.
- Шнирельман 1983 — Шнирельман В. А. Археологические источники // История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. М.: Наука.
- Шнирельман 1988 — Шнирельман В. А. Производственные предпосылки разложения первобытного общества // История первобытного общества. Эпоха классовобразования. М.: Наука.
- Шнирельман 1989 — Шнирельман В. А. Возникновение производящего хозяйства. М.: Наука.
- Шнирельман 1991 — Шнирельман В. А. Полевые данные о тлингитах Аляски.
- Шнирельман 1992a — Шнирельман В. А. Этнокультурные контакты и лингвистические процессы в Северной Америке // Америка после Колумба: взаимодействие двух миров. М.: Наука.
- Шнирельман 1992б — Шнирельман В. А. Полевые записи, сделанные на Камчатке.
- Шнирельман 1993a — Шнирельман В. А. Археологическая культура и социальная реальность (проблема интерпретации керамических ареалов). Екатеринбург.
- Шнирельман 1993б — Шнирельман В. А. Наука об этногенезе и этнополитика // Историческое познание: традиции и новации. Ижевск, часть 1.
- Шнирельман 1993в — Шнирельман В. А. Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская национальная политика // Этнографическое обозрение, № 3.
- Шнирельман 1994 — Шнирельман В. А. У истоков войны и мира. М.: ИЭА РАН.
- Шнирельман 1995 — Шнирельман В. А. Националистический миф: основные характеристики // Славяноведение, № 6.
- Шнирельман 2003 Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: ИКЦ Академкнига.
- Шнирельман 2006 — Шнирельман В. А. Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. М.: НЛО.
- Штайн 1981. — Штайн Л. В черных шатрах бедуинов. М.
- Якубинский 1926 — Якубинский Л. Несколько замечаний о словарном заимствовании // Язык и литература, № 1.
- Baldi 1988 — Baldi P. Review of C. Renfrew. Archaeology and language // Current Anthropology, vol.29, no. 3.
- Barker 1988 — Barker G. Review of C. Renfrew. Archaeology and language // Current Anthropology, vol.29, no. 3.
- Benveniste 1970 — Benveniste E. Les valeurs économiques dans le vocabulaire indoeuropéen // Indo-european and Indo-europeans.

Philadelphia.

Berlin et al. 1973 — Berlin B. et al. General principles of classification and nomenclature in folk biology // *American Anthropologist*, vol.75, no. 1.

Boas 1921 — Boas F. Ethnology of the Kwakiutl, based on data collected by George Hunt // Bureau of American Ethnology, Annual Report, no. 35. Washington.

Boas 1966 — Boas F. Kwakiutl ethnography. Chicago.

Bright 1960 — Bright W. Animals of acculturation in the California Indian languages // University of California publications in linguistics. Berkeley, Los Angeles, vol.4, no. 4.

Brown 1985 — Brown C. H. Mode of subsistence and folk biological taxonomy // *Current Anthropology*, vol.26, no. 1.

Brown 1986 — Brown C. H. The growth of ethnobiological nomenclature // *Current Anthropology*, vol.27, no. 1.

Bukowski 1971-1972 — Bukowski Z. Studies on the oldest shields in Europe // *Archeologia*, Wroclaw, t.22.

Casagrande 1954 — Casagrande J. B. Comanche linguistic acculturation, II // *International Journal of American Linguistics*, vol.20, no. 3.

Coleman 1988 — Coleman R. Review of C. Renfrew. Archaeology and language // *Current Anthropology*, vol.29, no. 3.

Colson 1967 — Colson E. Social organization of the Gwembe Tonga. Manchester.

Cruikshank 1990 — Cruikshank J. Women's life histories from Northern Canada: explaining new changes with old stories // A paper presented to the Sixth International Conference on Hunting and Gathering Societies. Fairbanks.

Laguna 1972 — Laguna F. de. Under Mount St. Elias: the history and culture of the Yakutat Tlingit. Pt. 1-2. Washington.

DuToit 1975 — DuToit B. M. Akuna. A New Guinea village community. Rotterdam.

1. W. Dennell 1985 The hunter-gatherer/agricultural frontier in prehistoric temperate Europe // *The archaeology of frontiers and boundaries*. Orlando.

Dolgopolsky 1989 — Dolgopolsky A. B. Cultural contacts of proto-Indo-European and proto-Indo-Iranian with neighbouring languages // *Folia Linguistica Historica*, vol.8, no. 1-2.

Dolukhanov 1989 — Dolukhanov P. M. Cultural and ethnic processes in prehistory as seen through the evidence of archaeology and related disciplines // *Archaeological approaches to cultural identity*. London.

Dolukhanov 1994 — Dolukhanov P. M. Environment and ethnicity in the Ancient Middle East. Avebury: Ashgate.

Downs 1963 — Downs J. F. Washo response to animal husbandry // *The Washo Indians of California and Nevada*. Salt Lake City.

Dutton 1982 — Dutton T. The Melanesian response to linguistic diversity: the Papuan example // *Melanesia: beyond diversity*. Canberra, vol. 1.

Ehret 1976 — Ehret C. Linguistic evidence and its correlation with archaeology // *World Archaeology*, vol.8, no. 1.

Ehret 1979 — Ehret C. On the antiquity of agriculture in Ethiopia // *Journal of African History*, vol.20, no. 2.

Ehret 1988 — Ehret C. Language change and the material correlates of language and ethnic shift // *Antiquity*, vol.62, no. 236.

Eckholm 1972 — Eckholm K. Power and prestige: the rise and fall of the Kongo kingdom. Uppsala.

Evans-Pritchard 1940 — Evans-Pritchard E. E. The Nuer. Oxford.

Fairservis, Southworth 1989 — Fairservis W. A., Southworth F. C. Linguistic archaeology and the Indus Valley Culture // *Old problems and new perspectives in the archaeology of South Asia*. Madison, vol.2.

- Gimbutas 1985 — Gimbutas M. Primary and secondary homeland of the Indo-Europeans // *The Journal of Indo-European Studies*, vol.13, no. 1-2.
- Gudschinsky 1964 — Gudschinsky S. C. The ABC's of lexicostatistics (glottochronology // *Language in culture and society*. N. Y.
- Guilaine 1987 — Guilaine J. Les Neolithiques Europeens: colons et/ou createurs? // *L'Anthropologie*, t.91, no. 1.
- Hiernaux 1974 — Hiernaux J. The peoples of Africa. L.
- Hymes 1960 — Hymes D. H. Lexicostatistics so far // *Current Anthropology*, vol.1, no. 1.
- Hynes, Chase 1982 — Hynes R. A., Chase A. K. Plants, sites and domiculture: Aboriginal influence upon plant communities in Cape York Peninsula // *Archaeology in Oceania*, vol.17, no. 1.
- Irimoto 1990 — Irimoto T. Changing patterns of Ainu land use and land rights in a historical context // A paper presented to the Sixth International Conference on Hunting and Gathering Societies. Fairbanks.
- Joiris 1990 — Joiris V. Ritual participation by Baka woman of Southern Cameroon in activities considered exclusively masculin // A paper presented to the Sixth International Conference on Hunting and Gathering Societies. Fairbanks.
- Kaplan 1975 — Kaplan J. O. The Piaroa. A people of the Orinoco basin. A study in kinship and marriage. Oxford.
- Klein, Lerman, Damon, Ralph 1982 — Klein J., Lerman J. C., Damon P. E., Ralph E. K. Calibration of Radiocarbon Dates // *Radiocarbon*. New Haven, vol.24, no. 2.
- Kratz 1990 — Kratz C. A. Follow the family, follow the husband: preliminary thoughts on gender, agency, ideology and politics in Okiek marriage // A paper presented to the Sixth International Conference on Hunting and Gathering Societies. Fairbanks.
- Lancaster 1987 — Lancaster C. S. Political structure and ethnicity in an immigrant society: the Goba of the Zambezi // *The African frontier*. Bloomington.
- Lawton, Wilke, DeDeker, Mason 1976 — Lawton H. W., Wilke P. J., DeDeker M., Mason W. M. Agriculture among the Paiute of Owens valley // *The Journal of California and Great Basin*, vol.3.
- Lewin 1976 — Lewin B. Japanese and Korean: the problem and history of a linguistic comparison // *Journal of Japanese studies*, vol.2, no. 2.
- Masica 1979 — Masica C. P. Aryan and Non-Aryan elements in North Indian Agriculture // *Aryan and Non-Aryan in India*. Ann Arbor.
- Mentore 1987 — Mentore G. P. Waiwai women: the basis of wealth and power // *Man*, 1987, vol.22, no. 3.
- Militarev, Shnirelman 1988 — Militarev A. Yu., Shnirelman V. A. The problem of proto-Afrasian home and culture (an essay in linguoarchaeological reconstruction). A paper presented at the 12-th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Zagreb, 1988. Moscow.
- Milton 1984 — Milton K. Protein and carbohydrate resources of the Maku Indians of Northwestern Amazonia // *American Anthropologist*, vol. 86, no. 1.
- Murayama 1976 — Murayama S. The Malayo-Polynesian component in the Japanese language // *Journal of Japanese studies*, vol.2, no. 2.
- Murphy 1974 — Murphy E. J. The Bantu civilization of South Africa. N. Y.
- Musil 1928 — Musil A. The manners and customs of the Rwala Beduin. N. Y.
- Nelson 1973 — Nelson R. Hunters of the Northern Forest. Chicago.
- Newman 1970 — Newman J. L. The ecological basis for subsistence change among the Sandawe of Tanzania. Washington.
- Nicolaisen 1963 — Nicolaisen J. Ecology and culture of the pastoral Tuareg. Copenhagen.

- Nida 1958 — Nida E. A. Analysis of meaning and dictionary making // *International Journal of the American Linguistic*, vol.24, no. 4.
- O'Brien 1972 — O'Brien P. J. The sweet potato: its origin and dispersal // *American Anthropologist*, vol.74, no. 3.
- Oswalt, Stone 1967 — Oswalt W. H., Stone J. W. van. The ethnoarchaeology of Crow village, Alaska. Washington.
- Palmer, Brady 1990 — Palmer K., Brady M. Diet and lifestyle of Aborigines in the vicinity of the atomic test sites in Southern Australia. A paper presented to the Sixth International Conference on Hunting and Gathering Societies. Fairbanks.
- Pejros, Shnirelman 1999 — Pejros I. I., Shnirelman V. A. Rice in Southeast Asia: a regional interdisciplinary approach // R. Blench and M. Spriggs (eds.). *Archaeology and Language*, 2. Correlating archaeological and linguistic hypotheses, p.379-389. London and New York: Routledge.
- Polome 1990 — Polome E. C. The Indo-Europeanization of Northern Europe: the linguistic evidence // *The Journal of Indo-European Studies*, vol.18, no. 1-2.
- Porteres 1976 — Porteres R. African cereals: Eleusine, Fonio, Black Fonio, Teff, Brachiaria, Paspalum, Pennisetum, and African rice // *Origins of African plant domestication*. The Hague — Paris.
- Problemi 1983 — *Problemi di sostrato nelle lingue indoeuropee*. Ed. by E. Campanile. Pisa.
- Rappaport 1989 — Rappaport R. Личное сообщение.
- Redei 1986 — Redei K. Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien.
- Renfrew 1987 — Renfrew C. *Archaeology and language. The puzzle of Indo-European origins*. London.
- Renfrew 1989 — Renfrew C. Change in language and culture: a special meeting // *Transactions of the Philological Society*, vol.87, no. 2.
- Renfrew, 1992. — Renfrew C. Archaeology, genetics and linguistic diversity // *Man*, vol.27, no. 3.
- Rimantiene, Cesnys 1990 — Rimantiene R., Cesnys G. The Late Globular Amphora Culture and its creators in the East Baltic area from archaeological and anthropological points of view // *The Journal of Indo-European Studies*, vol.18, no. 3-4.
- Rocek, Speth 1986 — Rocek Th. R., Speth J. D. The Henderson site burials: glimpses of a late prehistoric population in the Pecos valley. Ann Arbor.
- Routledge, Routledge 1910 — Routledge W. S., Routledge K. With a prehistoric people. The Akikuyu of British East Africa. London.
- Saggers, Gray 1985 — Saggers S., Gray D. The «Neolithic problem» reconsidered: human-plant relationships in Northern Australia and New Guinea // *Asian Perspectives*, vol.25, no. 2.
- Savishinski 1974 — Savishinski J. S. *The trail of the hare. Life and stress in an Arctic community*. N. Y.
- Schlesier 1961 — Schlesier E. Zum Problem einer Sago-verwertenden Kulturschicht auf Neuguinea // *Zeitschrift für Ethnologie*, Bd. 86, Hf. 2.
- Sherratt 1988 — Sherratt A. Review of C. Renfrew. *Archaeology and language* // *Current Anthropology*, vol.29, no. 3.
- Sherratt, Sherratt 1988 — Sherratt A., Sherratt S. The archaeology of Indo-European: an alternative view // *Antiquity*, vol.62, no. 236.
- Shnirelman 1992 — Shnirelman V. A. The emergence of a food-producing economy in the steppe and forest-steppe zone of Eastern Europe // *The Journal of Indo-European Studies*, vol.20, no. 1-2.
- Shnirelman 1995 — Shnirelman V. A. Who has priority: ethnogenetic myth as an ideology of confrontation. A paper presented to the Symposium on Ideology, Warfare and Indoctrinability held in Ringberg Castle, Germany, 9-13 January.
- Shnirelman 1996 — Shnirelman V. A. Who gets the past? Competition among non-Russian intellectuals in Russia. Woodrow Wilson Center Press.
- Shnirelman 1997 — Shnirelman V. A. Linguoarchaeology: goals, advances and limits // R. Blench and M. Spriggs (eds.). *Archaeology*

and Language I. Theoretical and methodological orientations, p.158-165. London and New York: Routledge.

Smole 1976 — Smole W. J. The Yanomama Indians: a cultural geography. Austin.

Suttles 1951 — Suttles W. The early diffusion of the potato among the Coast Salish // *Southwestern Journal of Anthropology*, vol.7, no. 3.

Swadesh 1959 — Swadesh M. Linguistics as an instrument of prehistory // *Southwestern Journal of Anthropology*, vol.15, no. 1.

Szemerényi 1989 — Szemerényi O. Concerning professor Renfrew's views on the Indo-European homeland // *Transactions of the Philological Society*, vol.87, no. 2.

Telegin 1990 — Telegin D. Ya. Iranian hydronyms and archaeological cultures in the Eastern Ukraine // *The Journal of Indo-European Studies*, vol.18, no. 1-2.

Thomson 1949 — Thomson D. F. Economic structure and the ceremonial exchange cycle in Arnhem Land. Melbourne.

Tindale 1977 — Tindale N. B. Adaptive significance of the Panara or grass seed culture of Australia // *Stone tools as cultural markers*. Canberra.

Turnbull 1965 — Turnbull C. M. The Mbuti Pygmies: an ethnological survey. N. Y.

Turner, Kuhnlein 1982 — Turner N. J., Kuhnlein H. V. Two important «root» foods of the North-West Coast Indians: springbank clover (*Trifolium wormskioldii*) and Pacific silverweed (*Potentilla anserina* ssp. *pacifica*) // *Economic Botany*, vol.36, no. 4.

Turney-High 1949 — Turney-High H. H. Primitive war. Its practice and concepts. Columbia.

Visser 1986 — Visser L. E. Comment on Brown, 1986 // *Current Anthropology*, vol.27, no. 1.

Will, Hyde 1964 — Will G. F., Hyde G. E. Corn among the Indians of the Upper Missouri. Lincoln.

Winter 1979 — Winter J. C. Language shift among the Aasax, a hunter-gatherer tribe in Tanzania (a historical and sociolinguistic case study) // *Sprache und Geschichte in Afrika*. Hamburg, Bd. 1.

Witkowski, Brown 1983 — Witkowski S. R., Brown C. H. Marking-reversals and cultural importance // *Language*, vol.59, no. 3.

Worsley 1961 — Worsley P. The utilization of natural food resources by an Australian Aboriginal tribe // *Acta Ethnographica*. Budapest, t.10, fasc. 1-2.

Yen 1974 — Yen D. E. The sweet potato and Oceania. Honolulu.

Yoffee 1990 — Yoffee N. Before Babel. A review article // *Proceedings of the Prehistoric Society*, vol.56.

Zimmer 1990 — Zimmer S. On Indo-Europeanization // *The Journal of Indo-European Studies*, 1990, vol.18, no. 1-2.

Zvelebil 1986 — Zvelebil M. Postglacial foraging in the forests of Europe // *Scientific American*, vol.254, no. 5.

Zvelebil, Zvelebil 1988 — Zvelebil M., Zvelebil K. V. Agricultural transition and Indo-European dispersals // *Antiquity*, vol. 62, no. 236.